



*Детям войны посвящается*



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Град (*рус.*) — вид ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы (градин).

Град (*белорус.*) — город.

«Град» — советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО). Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров.



## ГЛАВА 1

Все началось с вазы, которую я разбил. Хрустальная. Какая-то секунда, и она уже на полу. Да еще с таким звуком грохнулась! В общем, я сразу понял — сейчас начнется.

В нашем доме война началась именно тогда — в тот день, когда я разбил мамину вазу. Которая бабушкина.

Это же все, что от нее осталось! Хотя была же еще могила. И фотографии! Но я уже заранее понимал: маме, когда она злится, вообще ничего не докажешь. Особенно то, что я здесь — ни при чем.

Это все из-за близнецов! Они меня с самого утра доставали. Вот так прямо и ныли: «Достань, достань!» Ну я и достал. А там конфет — тьмуца! Понятно, с чего им эта ваза далась. А вот остальное — непонятно. Если ваза — единственное напоминание о бабушке, зачем держать ее на видном месте, да еще и конфеты внутри прятать? У близнецов же на шоколад

ных — ого-го какой. Они его даже через бетонный забор учуют, не то что через прозрачную дверцу шкафчика. Так что мама эту вазу сама под угрозу поставила. Изначально!

А я просто схватил ее и стал тащить. Она реально здоровая — с широким таким горлом! И вроде бы крепко держал, а тут — бамц — и всё: стал с открытым ртом и смотрю, как эти конфеты по ламинату прыгают. Как бусины. И звук такой, я уже говорил, неприятный. Стекланный — вот какой. Я понимал, что это не из-за конфет. Это у близнецов осколки под тапочками хрустели. Но я смотрел именно на конфеты — как они скачут по полу. Было в этом что-то тревожное.

Потом мама с кухни прибежала. И давай кричать. Я не реагировал, стоял спокойно. А сам чуть ли не молился — хоть бы она не заплакала. Потому что на крики я нормально реагирую. Да вообще никак. Просто мысленно сворачиваю уши в ракушку, и всё — мне эти крики по барабану. А вот если слезы, там сразу чувство вины просыпается. И совесть заодно. Терпеть не могу, когда свербит под ребрами. Сколько живу, столько не понимаю: это вина или все же совесть так по коже шкрябает?

Поэтому я и молился. Думал — что угодно стерплю, только прошу — не шкрябайте меня! И мама

услышала, наверное, раз не заплакала. А я сразу подумал — зачем? Зачем я просил?! Пусть бы она заплакала, как любой на ее месте. Я бы точно не сдержался, если бы у меня от нее одна ваза осталась.

Но мама просто закричала. И не так, как обычно, — с чувством, а тоненько, точно комарик. И вот этот проклятый комарик — он был таким маленьким, что запросто проник в мои ракушки и засел где-то внутри. И пищал, пищал. И в какой-то момент я понял, что больше не смогу этого выносить. Сказал: «Не пищи ты так — горло сорвешь!»

На самом-то деле я хотел сказать «извини». Ну или «подумаешь, ваза». Но сказал это. И сразу пошел в комнату, чтобы не слушать, что она там еще для меня припасла, кроме традиционного «в кого ты такой безответственный» и «ничего в этой жизни не ценишь» и вот это — мое любимое — «Ренат, когда ты уже повзрослеешь?».

Если бы я знал! Тогда бы я просто подошел и сказал: «Мам, прости меня, пожалуйста». И, наверное, что-нибудь такое, дурацкое, типа: «Давай я ее склею?» Не сам, конечно. С папиной помощью. И все было бы хорошо. Склеенная ваза вернулась бы в шкаф, а мы бы спокойно сели обедать. Папа сразу бы «смолотил» свой суп и попросил бы добавки. Мама говорит, это

потому, что папа воспитывался общежитием и «набрасываться на еду» его заставляет инстинкт выживания. Мол, кто успел, тот и съел. А я вот думаю, что истребительное жевание — это у папы от большой любви к маме. Потому что суп, если честно, особенно с клецками, — это вообще не ее. Размазня какая-то. Но папа каждый раз ест его с таким видом, будто это — пища богов. Он сам так говорит. И даже не краснеет!

А я такого не понимаю. Почему нельзя просто приготовить то, что все любят? Те же голубцы, например. Они у нее потрясно получаются, когда без укропа. А драники так вообще — с ума сойти можно.

Ну, тут я, конечно, не до конца справедлив. Мама их и так часто готовит. У нас же папа белорус, а у белорусов картошка эта чуть ли не в крови. Вот мама и старается — жарит. Кровь ему подогревает.

А мы потом сидим такие — все в сметане — и уписываем эти драники, как будто дистанцию бежим. Да, я уже взрослый, но с папой такие вещи, как еда наперегонки, — они и в три, и в тринадцать одинаково хороши.

Хотя вот близнецам уже три с половиной — а люди в настоящих удовольствиях до сих пор ничего не понимают. Они бы там за столом сразу стали ныть, что не хотят есть ни суп, ни драники, а хотят мультики.

Особенно Сёма. Вообще-то он у нас Семён — в честь какого-то там святого. Но «Сёма» как-то удобнее. А Ерёма, который Еремей, уже просто в рифму, наверное, сложился.

Но вообще они у нас больше разные. Вот Сёма, например, суп не любит. А Ерёма — очень даже. А еще сильнее — скандалить! Потому что, если разобраться, суп ведь можно и потом, после мультиков съесть. А если предварительно еще и проораться как следует, так оно даже вкуснее будет.

Но никакого супа у нас в тот день так и так не было. Потому что мама, повозмущавшись, грохнула по столу кастрюлей или чем-то похожим — я не разобрал из-за стены — и уже спокойно сказала:

— Обед будет нескоро.

А потом включила телевизор.

Это был сигнал для всех нас, что она обиделась. Мама одним словом или фразой — она умеет такое — может высказать все, что у нее накопилось. И хорошо бы нам всем ее не трогать до поры до времени, пока она не остынет. А еще лучше — скрыться с глаз долой и желательно куда подальше. Вот это все она может сказать одним словом. Или покашливанием! Есть у нее в арсенале такое особое «кха-кха». Его даже близнецы понимают. И сидят тихонько, пока буря не утихнет.

Вот и тогда тоже. Их как ветром сдуло! Я еще заглянул по пути к себе в их комнату — узнать, чем они там занимаются. Смотрю, в шатре сидят, о чем-то шепчутся. А Ерёма меня увидел, пальчик к губам приложил и такой «тс-с». Я же говорю, они мамино настроение на раз-два считывают, как телепаты. Вон даже комара ее почувствовали. И папа, видно, тоже, раз ко мне в комнату пришел. И такой с порога:

— Ты как хочешь, брат, а я планирую бежать из страны.

Потом подмигнул и так, заговорщицки:

— И как можно скорее!

Тут я уже не выдержал и засмеялся. Сказал еще:

— Тогда бежим вместе.

И вздохнул, чтобы показать, что на самом деле мне не так чтобы уж прямо весело. А папа сел рядом на кровать и прижал свое плечо к моему. Мы посидели так буквально пару минут, ну пять от силы, и я вдруг почувствовал, как меня отпустило. Как будто вся тяжесть с моей груди сползла куда-то в живот, потом ниже — в ноги, а потом вообще растворилась. И стало так легко! Словно никаких забот у меня в жизни нет. А разбитой вазы с прыгающими конфетами и подавно — никогда не было. И паршивого чувства наподобие тревоги — тоже.

У нас с папой всегда так. Мы, как те близнецы-телепаты, — понимаем друг друга без слов.

Да что там! Мы даже внешне — один в один. Близнецы — те в маму пошли — светлые, кудрявые. А я, как и папа, темный. И такой же высокий. Буду, наверное, когда дорасту до его лет.

Я об этом тоже думал, пока сидел рядом с ним. О том, как будет здорово, когда я вырасту и мы с папой окажемся в полном смысле на равных. Сейчас тоже здорово — взрослеть рядом с таким, как он, но будет еще лучше! Сколько всего интересного! И машины, и рыбалка. По субботам будем строить дом, а по воскресеньям — смотреть футбол. Ну или еще что. Просто хороший отдых в хорошей компании. Может, и близнецы потом подтянутся. Но не факт. У них свои интересы, а у нас с папой — свои. Настоящая мужская дружба.

И тут папа сказал:

— Пойдем до обеда мяч погоняем?

Вообще-то у меня были свои планы, но я о них тут же забыл. Не знаю, то ли мамин комар так на меня подействовал, то ли просто захотелось на воздух, но я тут же кивнул и полез в шкаф за формой.

— Сильно не кутайся, — предупредил меня папа. — Там жара на улице.

А я ещё так с усмешкой:

— Да уж конечно, жара! Прямо-таки июнь на дворе.

Но там и правда было солнце. Середина февраля, а пекло — одуреть как. Пока мы шли к стадиону, я видел на дорожке снег и больше ничего — солнце просто глаза выедало. Папа смеялся и толкал меня в бок, то слева, то справа, как будто заранее подзадоривал, разжигая во мне спортивный дух. А я жмурился и все думал, как ему рассказать. Про Катьку! Ведь завтра четырнадцатое февраля.

Конечно, все это — бред. Я в такие праздники вообще не верю. Но Катька — что с нее возьмешь? Она же девчонка! Вот я и хотел спросить — что мне с ней делать. Цветы подарить или одного стихотворения достаточно?

Стихотворение это тоже — тот еще бред. И вообще позор на мою голову. Но Катька как-то сболтнула, что любит романтику. А стихи — это разве не романтика? Ну, помимо того, что бред?

Нет, наверное, все же лучше без них. Просто цветы. И конфеты! Катька их обожает.

— Па-ап? — я решил спросить у него про тот букет, который он маме на первое свидание принес. Понятно, что я уже сто раз слышал эту историю, как мама любила хризантемы, а папа перепутал их с другими

цветами (забыл название), а у мамы на них была жуткая аллергия, но она боялась обидеть папу, поэтому по пути в кино все нюхала и нюхала, пока не начала задыхаться, и вместо кино они в итоге оказались в больнице. А потом почти сразу поженились.

Понятно, что с моей стороны это был чисто маневр, чтобы папа меня сразу не раскусил. Ну мало ли с чего я вспомнил. Просто хорошая история, я часто прошу ее рассказать. Только название цветов все время забываю. Пионы, что ли? Или астры?

Вот это я и хотел узнать — что за цветы? Может, мы с Катькой продолжим традицию.

Но спросить не успел, потому что папа вдруг хитро сощурился и сказал:

— Ну что? Удар скорпиона?\* Или слабо?

— Это мне-то слабо? — подхватил я.

Конечно, до Игиты\*\* мне еще как до луны. Но с папой эти отговорки не работают. Поэтому я сделал такой отчаянный вид — типа готов совершить невозможное! Рене ведь тоже называли сумасшедшим.

---

\* Удар скорпиона — в футболе отражение мяча игроком пятками назад и вверх в прыжке. Свое название получил за схожесть с атакой скорпиона, поражающего свою жертву.

\*\* Хосé Рене Игита Сапáта — колумбийский футболист, вратарь. Игрок национальной сборной (1987–1999), изобретатель удара скорпиона.

Он выхватил у меня мяч и помчался с ним вперед. И еще козырек кепки набок свернул. Как дуралей какой-то!

А я тоже побежал, только в противоположную сторону — к воротам, чтобы занять позицию. На стадионе никого не было — только я и папа. И ветер, такой сильный, что шапка еле держалась на голове. Ветер гнал на меня солнце, а я бежал, подставив ему лицо и шею. Разогнался по полной, чтобы прямо до свиста в ушах. И еще улюлюкал на бегу — наши с папой позывные.

А потом обернулся и увидел, что папа бежит за мной. Он размахивал руками и что-то кричал, но из-за ветра я ничего не мог разобрать. Я просто чувствовал странное давление где-то внутри. Оно росло и росло, и чем громче папа кричал, тем сильнее там давило. И как будто толкало меня вперед.

Я двинул папе навстречу. Не побежал, а пошел, но и то с трудом. Ужасно медленно. Словно уже понимал — что-то не так. Папа кричал, и ветер от его крика — он вроде как тоже изменился. До этого был мягкий и какой-то размазанный, как масло по хлебу. А тут стал плотным, словно собрался в комок.

И вдруг ударило. Звук был оглушительным. Как будто стая птиц целиком врезалась в воздух, разогнав

его крыльями. Разрезав небо, как куском стекла. Вот таким был тот звук — рассекающим. Я поднял голову и в ту же секунду понял, что это не ветер. Там и правда были птицы — большая стая, вытянутая в черную тень. Они пронеслись у меня над головой, на секунду заслонив солнце. Заслонив весь мир, и стадион, и папу. Я не знаю, может, на мгновение просто стало темно. Или я зажмурился от страха? Но именно тогда, в темноте, я вдруг отчетливо услышал папин голос — резкий и испуганный. То, как он кричит: «Ложись!»

А потом вдруг толчок и вспышка — яркая-яркая, намного ярче того недавнего солнца, а следом боль — обжигающая, как будто на меня вылили ведро кипятка. Я успел увидеть папино лицо, прежде чем меня подбросило. Мне показалось или нет? Я видел, как он улыбается! Невозможно, да. Ведь его уже не было. Но пока меня кружило и несло куда-то в темноту, я видел его лицо. И оно точно улыбалось!

А потом я упал — глубоко-глубоко. Провалился куда-то. Под землю, что ли? Но когда открыл глаза, почему-то снова увидел небо — черное и дымящееся. Оно трескалось и рассыпалось кусками у меня над головой. Точь-в-точь как бабушкина ваза. И огненные шарики, искры или ошметки облаков ударялись об эту обожженную поверхность и скатывались на землю

с невыносимым мерзким звуком — то ли стоном, то ли скрипом. Я даже не сразу понял, что сам его издавал. Потом уже, когда в больнице лежал... Смотрел, как мама говорит. Как медленно шевелятся ее губы и вздрагивают ресницы. Такие длинные, оказывается. На пол-лица!

Я хотел встать. Потянулся, чтобы сказать ей об этом, — вдруг она не знает. Но мама надавила мне руками на плечи и ласково прошептала:

— Лежи, сынок. Отдыхай.

Я этого не слышал, просто по губам прочитал. Я тогда вообще ничего не слышал. У меня в уши как будто вата набилась. И еще так противно звенело — зы-ы-ы, зы-ы-ы. Я покачал головой, потряс из стороны в сторону, чтобы достать эту вату. Хотел попросить маму, чтобы помогла. Но не смог — слова меня тоже не слушались.

Я начал стучать себе по ушам. Показывать ей, что там вата. Ее надо достать! Но мама не понимала. Она хватала меня за руки и беззвучно плакала. Наверное, все же со звуком, но из-за ваты я не слышал.

И вот этот момент — он взбесил меня жутко. Что я не слышу, как плачет мама. Обычно я нарочно не слушаю, а тут наоборот — хотел до ужаса. Не знаю почему. Наверное, чтобы услышать хоть что-то. Хотя бы

один живой звук. Чтобы просто почувствовать. Все равно что. Да что угодно — грусть или радость, оттого что я, скажем, вижу маму. Даже если боль — пусть! Главное, понять, что я уже проснулся, а тот стадион, и птицы, и папа — мне все это приснилось. Это был просто сон.

Я так хотел это почувствовать, что начал дрожать — от усилия или от ярости? Это ведь от нее у меня слезы выступили? А может, просто из-за слабости. Но я точно не плакал! С чего? Я просто катался по подушке, размахивая руками, чтоб поскорее стянуть с себя этот сон, как тяжелое одеяло. И злился, что не получается.

А потом вдруг услышал тот самый звук. Я его сразу узнал. То ли скрип, то ли стон — с нашего стадиона. Теперь он был у меня в животе и еще немного под ребрами. Сначала тихий, потом все громче и громче. Он нарастал, перебивая дыхание, выше и выше, пока не заслонил все вокруг. И даже маму вместе с ее ресницами.

Я стал кашлять и харкать, чтобы выплюнуть его. Достать, чтобы не мешал. Но он не доставался. Такая здоровенная горошина. Или камень? Я двинуться не мог — таким он был тяжелым. Я не мог дышать.

Потом кое-как вдохнул из последних сил. А получилось, что сильно. Воздух хлынул мне в горло,

и я тут же проглотил его с жадностью. И протолкнул им ЭТО — обратно вниз.

Бумц — я почувствовал, как оно рухнуло мне в желудок. И почти сразу отключился.

Наверное, тогда мне и приснился тот сон. Про Мариничиху. Не знаю, почему так. Все остальное я как будто забыл, а то, что не смог, помнил размыто. Операцию и как меня везли куда-то по коридору. Но это — все. А вот Мариничиху я хорошо запомнил.

Когда я был маленьким, у нас во дворе жила одна бабка. Марина Львовна, кажется. Но мы все, и дети и взрослые, звали ее вот так — Мариничиха. И боялись просто до жути. Не знаю как взрослые, но дети точно. Она же страшная была — не передать просто. Сморщенная вся, высохшая. И глаза такие... ну, как будто прозрачные. Словно ей в глазницы туманом надуло. Я знал, что она слепая, мне родители объяснили, но все равно думал, что наша Мариничиха — ведьма. Именно из-за глаз.

И тут снится мне такое. Как будто мы в нашем дворе — я и она. И больше никого. А Мариничиха ходит вокруг меня и так из-под бровей посматривает, ну, хитро. И, посмеиваясь, говорит:

— А давай-ка мы с тобой, дружок, в одну игру сыграем.

А я так вежливо:

— Ну давайте.

А сам только и думаю, как бы поскорее слинять. Но Мариничиха, точно назло, глаз с меня не спускает — этих своих чудовищных. И такая:

— Погоди-погоди, сейчас я тебе правила объясню.

И вдруг достает откуда-то канат. Здоровый, плетеный. У нас в школе в спортзале похожий висел. Мы по нему нормативы сдавали. А я смотрю и думаю: «Откуда она его вытащила? Из кармана, что ли?» И сам себе не верю, получается. Мариничиха — она же тонкая, сухая вся. Ей такой канат даже держать тяжело, не то что в кармане носить. А она вдруг раз — и сует мне его чуть ли не в лицо. Такой еще, не размотанный. Говорит:

— Бери и тяни.

А я с сомнением:

— Что? Да зачем мне это?

А Мариничиха так настойчиво, мол, давай-давай, не куксись, это игра такая. «Бери и тяни» называется.

Ну я и взял. Размотал, дал Мариничихе краешек. И вдруг как дернул! Без предупреждения. Просто разозлился, что она мне этим грязным канатом чуть щеку не расцарапала. Потом мне, конечно, стыдно стало — что я с ней так. Она же старенькая!

Но чувствую — что-то странное. А конкретнее — ничего. Она даже с места не сдвинулась! Как стояла, так и стоит. И вдруг смотрю, а эта мымра смеется. Точно как ведьма какая-то. Хи-хи-хи, хи-хи-хи. Мерзкий такой смешок.

Я тогда еще раз дернул. Уже сильнее. Потом еще. Конкретными такими рывками. А Мариничихе хоть бы хны. Она в свой край каната вцепилась и стоит как истукан. Сначала просто держала, не натягивая. Я это чувствовал. А потом вдруг как пошла — хватъ, хватъ. Я оглянуться не успел, как она уже мою половину себе перетянула. Вместе со мной. И смех этот мерзкий — до мурашек просто.

Я давай орать — пусти-пусти! А она еще сильнее тянет. Канат — на себя, а сама — ко мне. Шею вытянула, как жираф, и тянется, тянется. И ржет уже в голос. Губами шамкает. Я как глянул, а у нее там во рту все черное. Зубов нет, и десны такие — сгнившие. От старости или еще от чего. И вонь — невыносимая просто. Как будто она сто лет одной болотной тиной завтракала.

А я от ужаса просто обессилел весь. Ног под собой не чувствовал. Волочился за этим канатом — прямо ей в рот. Понимал, что вот сейчас, еще секунда, и она меня проглотит.

Я даже заплакал, наверное, или вообще зарыдал. Вот так: «Не надо, не надо, пожалуйста!»

А потом резко дернулся и открыл глаза. Увидел маму, врачей, кровати какие-то и сразу понял, что я — в безопасности. И никакой Мариничихи здесь нет. Она же умерла пару лет назад.

Легче мне не стало. Но это чувство — какой-то ужасной неотвратимости — оно висело в воздухе. Прямо у меня над головой. Я не удержался и, приподнявшись, посмотрел на потолок, хотя голова у меня была такая тяжелая, что от подушки не оторвать. Я просто хотел убедиться, что Мариничиха действительно там — висит, как летучая мышь, и пожирает меня своими туманными глазами. Тогда бы я по крайней мере знал, что она есть. И, может быть, даже придумал, как с ней бороться.

Но ее не было. Просто лампочка, просто потолок. Я беспокойно ворочался и просил маму дать воды. У меня был дикий жар и все внутренности, кажется, горели. Потом мама куда-то ушла, а я все крутился, и искал ее глазами, и жмурился, боясь наткнуться на знакомое высушенное лицо. Я ее не видел, но знал — она где-то здесь, просто прячется. Она пришла за мной, за всеми нами, и теперь никуда не уйдет. Как та война, рядом с которой мы жили. Ее мы тоже не видели,

а она была совсем близко — гремела и взрывалась где-то. Так далеко, что, казалось, в другом мире. Мы знали, что она есть, но не боялись. Жили себе и жили такие беспечные. А она, гадина, тихонько подкралась и набросилась. Ударила. Или укусила? Отравила! Я не знаю, как правильно. Я не мог объяснить.

Я просто понимал, сквозь бред или еще как-то, не знаю, что тот ужас, который нас коснулся, — он теперь навсегда.

## ГЛАВА 2

Те первые дни в больнице перемешались и склеились в один. И даже не день, а какие-то фрагменты. Просто обрывки кадров из мало запомнившегося кино.

Белый потолок с резкой лампочкой. Справа и слева кровати, на которых кто-то шевелится. Нет, справа шевелится, а слева лежит неподвижно, но стонет. Громко так, умоляюще. Хорошо, я этого поначалу не слышал — из-за той ваты почти все время спал. А когда слух вернулся, мне уже было все равно.

Помню день, когда все случилось. Прошла неделя или две, а может, даже месяц. Сколько я там уже

валялся? И вот однажды утром я открыл глаза и четко понял, кто я, где я и что я здесь делаю. Это было странно, потому что до этого у меня все в голове путалось. А тут вдруг — хоп — и сразу такая ясность.

Я приподнялся в постели и начал крутить головой. Хоть уже и соображал, но до меня постепенно доходило: «Я — Ренат. Фамилия — Кареев. Отчество — Александрович». И тут в палату зашла медсестра. И говорит:

— Ну что, Ренат? Выспался сегодня?

А я такой на автомате:

— Да.

А потом как удивился! Думаю: «Ничего себе, я что — ее слышу?»

Там с ней еще какие-то врачи были, но их я даже не видел толком. Я на нее смотрел как на чудо природы какое-то.

А медсестра эта, Ольга какая-то там, снова говорит:

— Мы сейчас тебя посмотрим, а ты полежи, ладно? Помечтай!

Я кивнул и лег обратно на подушку. И лежу без всякой реакции. Ну а что мне? Пусть смотрят, если им так интересно.

Я, наверное, просто был в шоке от того, что снова начал слышать. А остальное меня мало волновало.